

**П.Н. Краснов**

**Опавшие листья**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
К77

К77 **Краснов П.Н.**  
Опавшие листья / П.Н. Краснов – М.: Книга по Требованию, 2013. – 502 с.

**ISBN 978-5-4241-2901-8**

Роман "Опавшие листья" - это гимн великой Любви - любви к Родине, Матери, Женщине., В центре повествования - драматические события истории России на рубеже XIX-XX веков.

**ISBN 978-5-4241-2901-8**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2013  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2013  
© П.Н. Краснов, 2013

– ... «Блаженни кротции, яко тii  
– наследятъ землю»...  
– (Отъ Матфея Гл. 5 ст. 5)

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Страстная седмица... Сладко, волнующе пахнет в квартире Кусковых ванилью, творогом, краской для яиц, свеженатертыми мастикой паркетными полами и молодыми вербочками. Этот запах говорит о приближении великого праздника... Праздников праздника и торжества из торжеств. И надо все поспеть убрать и приготовить к празднику и сделать «как у людей».

Семья Кусковых большая, сам седьмой. Старые традиции дворянского рода, пережитки помещичьего быта заставляют еще держать родственниц: бездомную тетю Катю и сироту-племянницу. При семье живут гувернантка, обрусевшая француженка, и старуханянька. Они никому больше не нужны. Дети повыврастали, все отданы в гимназию, но выгнать, рассчитать их нельзя. Жестоко, бесчеловечно... Они сжились с семьей, вошли в нее. Как их выгонишь!

У папеньки Варвары Сергеевны Кусковой учитель музыки до самой смерти жил. Давно оглох, никому уроков не давал, ничего не играл, а кормили, комнату давали, обували, одежали... Не на улицу же гнать! Собаку и ту не прогонишь.

Правда, теперь не те времена. Папенька казенную квартиру имел во дворце... Двенадцать комнат. Прислуга была нипочем, из деревни мужики оброк посылали... Теперь не то. Кусков уже более двадцати лет служит в статистическом комитете и еще читает лекции по статистике. Кормит «двадцатое число». От имения ничего не осталось, и трудно сводить концы с концами, но куда же денешь хромую, ничего не умеющую тетю Катю, не отдавать же в сиротский дом племянницу Лизу и не гнать же mademoiselle Suzanne, с которой выходили и вынянчили всех пятерых детей. И старую няню Клушу не выгонишь. Все это «свои», кусковские, такие же члены семьи, как и дети, дорогие, милые, родные, любимые...

И нельзя обделять их куском хлеба, нельзя не дать крова и покоя. Таков обычай... Русский обычай... Христианский обычай... Так было... Так и быть должно... Все должны помогать друг другу. В квартире, полной детей, тихого утреннего шороха и негромких несмелых голосов, полуразбуженной, полубодрствующей, полуспящей, жизнь уже началась.

Варвара Сергеевна только что проводила на службу мужа. Она заперла дверь на крюк и тихой походкой уставшей от жизни сорока-четырёхлетней женщины, мягко ступая по полу войлочными туфлями, пошла в столовую.

В гостиной оба окна были настежь раскрыты, на подоконнике стояли табуретка и ведро с водой. На табуретке, отважно высунувшись во двор, презирая высоту четвертого этажа, цепляясь обнаженной выше локтя смуглой рукой за верхнюю раму, горничная Феня мыла стекла. Ее ноги были босы, подоткнутая юбка открывала их до колен. Белые, с синеватыми жилами, с розовыми пальцами, напряженными на табуретке, они точно впились в мокрые доски. В окно доносился треск дрожек по каменной мостовой, и на дворе, глубоким ящиком черневшем внизу, разносчик кричал:

– Цветики, цветики! А не пожелаете!.. Хорошие цветочки!

Он приподнимал над головой лоток, уставленный гиацинтами, тюльпанами, белой и розовой азалией, и смотрел на окна флигелей. Со двора врвался свежий весенний воздух, запах кокса, угля, запах города, очнувшегося от долгой зимы.

Большие фикусы, рододендроны, азалии, латании, музы, лавры и лимоны стояли в горшках и кадках на полу, ковер под диваном и круглым столом с лампой был подогнут. Кресла и столики сдвинуты в беспорядке в угол.

Варвара Сергеевна, отвернувшись от Фени, поспешно прошла в столовую. Она смертельно боялась высоты. Ей все казалось, что Феня упадет во двор и разобьется. Но она никогда не запрещала так мыть окна. «Надо же протереть стекла. Светлый праздник ведь», – думала она. Так же думала и Феня. В эти дни Страстной недели тысячи Фень стояли так же на подоконниках и табуретках петербургских квартир и мыли стекла, рискуя жизнью. Это был обычай.

Бронзовые часы – рыцарь, прощающийся с дамой в широком платье, – стоявшие в простенке между окон под зеркалом, мелодично пробили десять.

«Господи! – подумала Варвара Сергеевна, – десять часов, а дети еще не встают... Ну... пусть выспятся. Устали от гимназии-то. Да... и им нелегка жизнь».

В столовой, за большим столом шумно кипел, пуская тонкие струи кудрявого пара к потолку, пузатый самовар. На длинном черном железном подносе, с красными ягодками и зелеными листьями, рисованными по темному лаку, тесно сдвинулись стаканы и чашки. Они были разной величины и формы и имели различные ложки. Каждый был «свой». Варвара Сергеевна быстро, по привычке оглядела их и мысленно пересчитала, не забыла ли кого прислуга. Andre, Ипполита, Липочкина голубая чашка, Лизина белая с розовыми цветочками, высокая коричневая тети Кати, плоская зеленая mademoiselle Suzanne, Федин граненый стакан, Мишин в подстаканнике. Кажется, все.

Старая няня Клуша, стоя в углу, тщательно и благоговейно чистила суконкой и мелом снятую со стены икону Николая Чудотворца в серебряной ризе.

На подоконнике стояла железная клетка с двумя снегирями и чижилом. Снегири важно сидели на верхней жердочке, выпятив бледно-розовые грудки, и мигали черными глазами, точно что-то обдумывали. Чижики со звонким чириканьем прыгали вниз, мелькая быстрым, зеленым в черных крапинах телом между проволок клетки.

Варвара Сергеевна мельком посмотрела на птиц, и забота легла на ее красивое, усталое лицо.

«Надо успеть клетку почистить, птиц накормить и детей напоить... А там завтрак, там яйца красить, творог готовить к пасхам... Миндаль толочь... Ах, еще цветы позабыла купить. И ведь кричал разносчик! Было бы позвать. Эка! Какая я нонче беспамятная стала...» – уже вслух сказала она.

– Что, матушка? – отрываясь от иконы, спросила Клуша.

– Беспамятная, няня, говорю, я стала. Цветы не купила, а разносчик кричал. Тут бы позвать и купить.

– И то, матушка, позвать да купить, куда ж проще! Были бы только купилы-то! Варвара Сергеевна вздохнула. Это была постоянная ее забота: недостаток средств, год от года заставлявший ее сжиматься и сокращать расходы.

– Что, встают, няня, дети?

– Встают! Ишь, гомонят как!.. Что твои телятки! Федя почитай что готов совсем. Андрей Михайлович тоже куда-то собираются. Встают... Им теперь праздник, пусть поспят. Поди намучились в гимназиях-то. А вы, матушка, что же чайку-то?

– Я подожду, няня. С детьми буду.

## II

Первым пришел Федя. Это был мальчик четырнадцати лет с круглым лицом, розовыми щеками, пухлыми губами и густыми русыми волосами, расчесанными на пробор с левой стороны. Он был одет в длиннополый синий мундир с девятью светлыми пуговицами и узким серебряным кантом по воротнику, в черные длинные штаны и короткие сапожки. Про Федю говорили, что он «мамин любимчик». Варвара Сергеевна посмотрела на еще сохранившиеся следы крепкого

сна здоровое лицо Феде и задумалась: правда ли, что его она любит больше других детей? И твердо ответила себе: «Нет, это неправда. Все одинаково ей милы и дороги ее сердцу... Вот разве Липочка?.. Но, кажется, всегда так: матери больше любят сыновей, а отцы – дочерей. Михаил Павлович показывал ей вчера смету расходов хальные подарки. Сыновьям по рублю, а дочери и племяннице по двенадцать рублей. Он сказал: «Потому что она одна родная у меня, а Лиза – сиротка, некому ее побаловать». И неправда... Потому что они девочки, почти девушки, и ему приятно им подарить. Нет, Федя для нее такой же, как Andre, Ипполит и Миша... Такой же!.. Она его любит так же, как и тех!

Варвара Сергеевна посмотрела на сына, сидевшего по левую руку от нее и отщипывавшего по кусочкам постного булочного жаворонка, оставляя, как всегда, головку с подпеченным хрустящим клювом и черными из коринки глазами напоследок,

«Хороший Федя. Милый Федя»... Быть может, потому она его любит как будто больше других детей, что он ей понятнее, проще, доступнее. Его мечты – быть офицером и ее мечты. Он верующий, понимающий церковные обряды и чтущий их. Он любит выносить свечу перед евангелием, читать на клиросе звонким ломающимся голосом, красоваться перед молящимися, а она любит смотреть на него, когда с серьезным насупленным лицом и чуть надутыми губами медленно и важно выходит он из боковых врат впереди священника и держит подсвечник обеими руками. Она гордится им перед прихожанами. «Это мой сын, – думает она. – Смотрите, вот он какой, мой сын!..». Быть может, она любит его за то, что он один из всех детей всегда готов часами слушать ее рассказы про императора Николая Павловича, про ее девичью жизнь во дворце, про парады и войны, про Севастополь, про Суворова, про Петра Великого. Он русский, а не космополит, какими казались ей старшие сыновья.

Ему уже было четырнадцать лет, а он все еще любил играть в солдатики, мечтал стрелять из настоящего ружья, летом ездил верхом и бесстрашно скакал на чухонских лошадях. Он был «мужчина» и был ей мил и понятен. Даже с пороками своими, с рано развившеюся чувственностью, он был ей дорог. Остерегая его, она понимала

его, и его не стыдилась, как и он ей все говорил, что думал, ничего не скрывая.

Может быть, еще и потому она его как будто больше любила, что в нем более бурно проходили болезни детства, корь и скарлатина, что он хворал тяжелым тифом, и не раз она отнимала его от смерти.

Федя любил животных и птиц такой же сильной любовью, как и она. И сейчас ее собака Дамка была и его собакой. У него был серый кот Маркиз де Карабас, и птицы были куплены им на скопленные им деньги. Он был весь «мамин», как говорили про него его сестра и братья.

Быть может, еще потому она любила его больше, что отец любил его меньше. Отец не прощал ему, что он плохо учился, не был в первой пятерке, не получал наград, не метил на золотую медаль и все витал в романах Майн Рида, Купера и Вальтера Скотта и в фантазиях Жюль Верна.

Andre, ее первенец, перерос ее. Он был ей непонятен. Задумчивый, замкнутый в себе, отличный скрипач, мечтающий о каких-то великих открытиях, поэт, стыдливо прячущий плоды своего вдохновения, неверующий, презрительно говорящий о религии и государстве, дружащий с еврейской семьей Бродовичей, скрытный, он был временами ей страшен. Она любила его, но и боялась. На многие вопросы матери Andre отвечал: «Ты, мама, все равно этого не поймешь», – и глядел мимо нее. Он бросил игрушки, когда ему было восемь лет. Десяти лет он собирал коллекцию перьев и наизусть знал все их клейма, и какие перья редкие, какие нет, одиннадцати лет он собирал марки, а двенадцати легко расстался и с перьями, и с марками и ушел в чтение. И когда мать приходила к нему и смотрела на этажерку, где стояли его книги, он загоразивал их собою и говорил: «Нечего тебе, мама, смотреть на них. Эти книги не для тебя. Мы разные поколения».

Только музыка их сближала.

Когда вечером Andre подходил к Варваре Сергеевне и говорил ей: «Мама, сыграй вальс Годфрея», и в гостиной было полутемно, на фортепиано горели две свечи в бронзовых подсвечниках, на которых иногда звенели стеклянные розетки, и Andre мечтательно полу-

лежал в темном углу на диване, мать и сын понимали друг друга, и Варвару Сергеевну радовало и трогало восхищение сына ее игрою. Но кончалось все это драмой.

– Да, – вставая говорил Andre, когда мать гасила свечи, складывала ноты и гостиная погружалась в темноту, – и ты, мама, могла бы быть человеком... А так... Эх!.. – он махал рукою и поспешно ушел в свою комнату.

Ипполит был еще сложнее. Ипполит был вечно занят уроками и мало давал себя матери. Она его видела постоянно за учебником, за тетрадями. Со дня поступления в гимназию у него всегда были пятерки, и директор и учителя смотрели на него как на будущее светило. Он готовился стать естествоиспытателем и путешественником и еще мальчиком собирал гербарии, бабочек и потрошил лягушек. Варвара Сергеевна боялась его превосходства над собою, когда, показывая ей гербарии, он сыпал латинскими названиями, говорил, какого семейства, рода и вида какой цветок. Он как бы развенчивал красоту природы, которую так просто, свято и нежно любила его мать. И охлаждение между ними произошло тогда, когда он показывал матери собранную им богатейшую коллекцию рисунков роз. Варвара Сергеевна с глубоким, радостным вздохом сказала:

– Вся премудростью Божией сотворена суть. Все его промыслом! Какая красота, какое величие Бога в каждом его деянии... Не правда ли, Ипполит!?

Ипполит долго молчал и наконец сказал, глядя на мать недетскими, строгими глазами:

– Мама, у нас это не так... Ты училась в пансионе и дома... Ну а теперь наука дошла...

Ипполит увидел засверкавшие слезами глаза матери и остановился, не окончив фразы.

– Не будем говорить об этом, мама, – сухо сказал он и закрыл тетрадь.

В эту ночь нечеловеческой болью болело сердце матери, и, лежа в постели, в комнате, где мирно спали ее дочь Липочка и племянница мужа Лиза, она все думала и никак не могла понять, когда и по-

чему ушли от нее Andre и Ипполит, и в мучительной тоске она спрашивала себя:

– Ужели для этого образование?.. Но ведь это ужас! Ужас!.. Господи, спаси и помилуй.

Ее большие прекрасные серые глаза были устремлены на образ, перед которым трепетно в малиновом стекле лампадки мигало пламя, она смотрела на скорбный лик Богоматери в серебряной оправе и думала:

«Господи! Моя вина... моя... Но ведь школа взяла его у меня. Школа... Правительство... Гимназия...»

Она горячо молилась. Она думала: «Сильна молитва матери у Господа. Господи! Направь. Господи, спаси и помилуй!».

Младший, Миша, был некрепкого здоровья, не силен физически и, может быть, поэтому озлоблен. Уже ребенком в нем рос дух протеста. Он спрашивал как все дети: «Почему да почему?» И когда мать объясняла ему, он возражал: «А я не буду так делать. Я не хочу».

– Почему, мама, надо снимать шапку и креститься у церкви?

– Потому что там Господь.

– А я не хочу.

– Как же можно не хотеть помолиться Богу?

– А очень просто, не хочу.

В гимназии этот дух протеста вызывал серьезные конфликты. Миша то заявлял, что не хочет вставать перед преподавателями, и бунтовал весь класс, то отказывался становиться в пары, чтобы идти в классы, то дерзил классному наставнику. Родителям приходилось объясняться, и Мише прощали за заслуги его братьев и потому, что его отец был известный профессор. Его считали ненормальным. Но мать чувствовала, что это не ненормальность, а удаление ее сына на тридцать с лишним лет от нее, делавшее его человеком нового, чуждого ей времени.

В Мише росло далекое будущее России, и мать со страхом смотрела на него.

Она принадлежала своими привычками, верованиями, любовью, устремлениями к первой половине XIX века. Воспиталась она в суровый рыцарский век императора Николая I, во времена деспотиз-

ма, преклонения перед личностью и красоты жизни во всем. Она как бы росла с ростом молодой русской литературы, в ее памяти свежи были выступления и вся драма жизни Лермонтова. Пушкин коснулся ее поколения ароматом своего свежего таланта, и Тургенев, граф Толстой и Гончаров вырастали на ее глазах. Она приняла реформы императора Александра II, как прекрасное, но тревожное будущее. Ее старшие сыновья принадлежали еще текущему веку. Их зрелость не будет отмечена мистическим значением нового века. Миша весь был для двадцатого загадочного века, и он пугал ее. Точно в духе раннего, детского протеста своих часто злобных выходок он носил нарождающуюся бурю, о которой неустанно твердили все, кого ее муж, ее брат и многие знакомые называли лучшими либеральными умами общества.

Тетя Катя, маленькая, забитая приживалка, живущая отцовской пенсией, с сивыми коротко стриженными волосами, некрасивая неудачница, зачитывалась Писемским, Герценом, Чернышевским и тихонько давала читать «Что делать?» Andre и Ипполиту.

И думала Варвара Сергеевна: «Учит других что-то делать, а сама ничего не делает».

Варвара Сергеевна смотрела на Федю, медленными глотками пившего чай, и думала свои думы. Точно хотела оправдаться перед собою и детьми. Любила ли она его больше других? Был ли действительно он ее любимцем, как утверждали дети и особенно нервная, чуткая Лиза?

«Нет, нет...» – говорила она себе, лаская его нежными взглядами выпуклых прекрасных глаз и любясь, как может любоваться только мать своим сыном. Все ей казалось в нем прекрасным: его уже большой рост, большая голова, от природы вьющиеся, в золото отливающие, темные густые волосы, красивым локоном стоящие над лбом, мягкие, такие же, как у матери, серые глаза в длинных ресницах и пухлые, еще детские румяные щеки. Он нравился ей как мальчик. «Он добрый, – думала она, – он весь понятный мне, простой – и вот причина тому, что думают, что я его особенно люблю».

– Федя, – сказала она, и ласка дрожала в ее голосе, – ты куда же собрался в мундире? Отчего не в рубашке?

– Сегодня после «часов» Митька будет делать репетицию крестному ходу. Я, мама, в нынешнем году образ Воскресения Христова несу. Знаешь киот большой, весь в серебре, что висит в притворе у окна?

Мать не помнила образа. Но невольно гордость сына его высоким назначением нести образ праздника передалась и ей

– Кто же назначил тебя?

– Теплоухов и Лисенко. Теплоухов очень хорошо ко мне относится. Он просил меня после репетиции остаться помогать ему свечи исповедникам продавать. Теперь, мама, в церкви очень много работы. Весь день мы заняты. И если Мохов не придет, я буду вечером шестопсалмие читать. Ты придешь, мама? Приходи, пожалуйста!.. Мне будет так приятно, что ты слушаешь.

– Приду, – сказала мать. Молодо толкнулось ее сердце. Слушать чтение сына показалось ей чем-то прекрасным и значительным. Давно ли лежал он у ее груди и был таким беспомощным и жалким!

– Ну прощай, мамочка. Иду. Сейчас, я думаю, «часы» кончатся.

### III

Федя быстро сбежал по каменным ступеням чистой лестницы, хлопнул внизу дверь, и мать, подойдя к окну, видела, как он легкой походкой прошел по узкой дорожке в две плиты от крыльца к воротам, насквозь через двор. У ворот Федя оглянулся. Он знал, что мать будет провожать его, и улыбнулся ей. Он вошел в сумрак ворот, мощенных камнем с двумя деревянными полосами, и вышел на улицу.

Славно пахло весной. Снеговые кучи, еще третьего дня лежавшие вдоль панелей с черными тумбами, были убраны, и рослые дворники в белых передниках метлами наводили на улице порядок.

Вся Ивановская, широкая пустынная, сверкала в золоте солнечных лучей, и в дальнем конце ее лилово нависли на желтые заборы сады подле деревянных старых домов и трактиров. Мокрые камни мостовой блестели. Мутная грязь, смешанная с конским навозом, подгоняемая метлами, весело журча и загораюсь на солнце огонь-